

Юрий Вестеренко

Имя

Если вы читаете эти строки, значит, я уже мертв.

Тошлое начало, не правда ли? Мне не раз доводилось читать истории, начинавшиеся подобным образом. Все они, впрочем, были придуманы сочинителями, желающими завлечь и развлечь досужего читателя. Однако все, что я пишу сейчас, является чистой правдой, а не литературным вымыслом, и я не имею намерения развлекать кого-либо. Хотя, признаюсь, меня бы самого весьма развлекло, если бы я имел возможность увидеть, что вы будете делать с этой правдой. Что вы будете делать с ней теперь, когда я мертв и похоронен со всеми подобающими почестями, и прославленное имя уже высечено на моей могиле?

Я знал Винченцо Фирентийского еще в те времена, когда его не называли ни Великим, ни Блистательным, ни даже Фирентийским. А называли просто Винченцо, иногда прибавляя "сын рыбака", если требовалось отличить его от какого-нибудь другого мальчишки, носившего то же имя. Сам я был сыном булочника и, соответственно, тоже не мог прибавить к своему имени "Родольфо" никакой звучной фамилии - хотя по сравнению с Винченцо, пробежавшего досиком все первые 12 лет своей жизни, мог считаться почти что баловнем судьбы. Если бы я был первенцем, то, несомненно, унаследовал бы отцовское дело и прожил бы достойную и размеренную жизнь владельца пекарни, уважаемого и, возможно, даже знаменитого на всем пространстве от Рыбного рынка до Плотницкой улицы. Однако я родился вторым, спустя три года после моего брата Амберто (ныне уже покойного), и, соответственно - ибо мудрый фирентийский обычай еще в те времена запрещал дробить наследственную собственность, как ныне, повелением императора Людвига, это запрещено по всей Империи - перед моим отцом встала проблема, как наилучшим образом сбить меня с рук. Сначала он отдал меня в подмастерья к кожевнику, чья мастерская славилась выделкой кож даже за пределами Фиренты и не знала недостатка в богатых и знатных заказчиках, но я не оценил своего счастья и сбежал, не вынеся ужасающего зловония, присущего данному ремеслу. Выпоров меня подобающим образом, отец отвел меня в гончарную мастерскую на Старом

Мосту, но и там я надолго не задержался. Делать простые горшки и плошки было для меня слишком скучным, я все норовил вместо этого слепить из глины какую-нибудь фигурку, а порой нарочно придавал кубышину причудливую форму, вызывая гнев хозяина; окончательно же его терпение лопнуло тогда, когда я не уследил за печью для обжига, засмотревшись в окно на великолепный закат над Арном. В итоге партия посуды, изготовленной как раз к ярмарке, была испорчена, а я с позором возвращен домой. На сей раз отец, надо отдать ему должное, не стал меня бить - впрочем, после расставания с гончаром моя спина едва ли нуждалась в дополнительных вразумлениях - а некоторое время задумчиво смотрел на меня, вертел в руках сделанную мною фигурку собаки (которую, по правде говоря, можно было принять и за мула) и вдруг объявил, что со всеми моими художествами мне, как видно, самое место в мастерской художника. Должно быть, на эту мысль его натолкнула одна из утренних покупательниц, поделившаяся свежим слухом о том, что Лоренцо Бадатини надирает учеников.

Сыне это имя если и вспоминают, то главным образом как учителя Винченцо Флистательного, но в ту пору он был самым известным живописцем Фиренты, и разбирайся мой отец в искусстве хотя бы чуть-чуть, он едва ли отважился бы на подобную дерзость. Но, на мое счастье, мой родитель полагал "художество" занятием легкомысленным и несерьезным, к которому только и можно пристроить парня, оказавшегося неспособным к более солидным и основательным ремеслам. У то сказать - на одного художника, удостоившегося заказа богатого купца или даже самого герцога, приходится, наверное, не один десяток тех, кто загибаются в полной нищете и почитают за счастье, если им предложат намалевать вывеску для портового кабака. Все же, явившись на другой день вместе со мной к Лоренцо, отец говорил с ним с подобающей почитательностью и даже с заискивающими нотками, которые, впрочем, скорее всего были вызваны не уважением к таланту собеседника, а опасениями по поводу моей нищеты. Под конец своей речи отец выразил надежду, что я схожусь хоть для какой-нибудь работы, "ну там краску варить или что". Лоренцо осмотрел предъявленные ему глиняные фигурки, осведомился, учился ли я когда-нибудь лепке или рисованию, получив отрицательный ответ, хмыкнул с непонятной мне интонацией, а затем принес кусок полотна, весь перемазанный красками, и спросил меня, сколько цветов здесь я могу различить. Всмотревшись и старательно показывая пальцем, я сказал, что различаю восемь оттенков красного, девять синего, семь зеленого и еще четырнадцать переходных цветов, назвать которые я затруднялся. Лоренцо хмыкнул еще раз,

на сей раз явно одобрительно, и сказал, что будет меня учить.

Винченцо попал в ученики к Рабатини более необычным образом. Его отец, простой рыбак, промахнувшийся своим ремеслом, и в мыслях не дерзнул бы приблизиться к дому уважаемого мастера. Зато сын дерзнул не только приблизиться, но и разрисовать углем выделенную заднюю стену дома - за каковым занятием его и застукал хозяин. Винченцо не имел понятия, чей дом разукрашивает, и выбрал его лишь потому, что ему понравилась ровная, идеально белая стена. Он так увлекся, что не заметил приближения опасности; ухваченный за шиворот, он смиренно ожидал пощев, но хозяин, изучив рисунок, неожиданно спросил пленника, хочет ли он учиться на художника. Сказание, впрочем, все же последовало, но это были не подвои: Винченцо пришлось собственными руками уничтожить свое творение, восстановив безупречную белизну стены. Впрочем, он ведь и не надеялся, что рисунок останется там навечно. Что именно там было изображено, так и осталось известным лишь участникам этой сцены, но скадрезные домыслы на сей счет полагаю неуместными. Винченцо, несмотря на свое низкое происхождение, предбывал в то время еще в совершенно невинном возрасте и если и употреблял порой кое-какие услышанные на улице слова, то сам не понимал их истинного значения.

Мы были ровесниками и быстро сдружились. Первое других учеников были старше; был еще один мальчишка моложе нас, очень способный, но слабый здоровьем. Он умер следующей зимой.

Сам с Винченцо нравилось учиться, хотя случалось, что я плакал от злости и бессилия, видя, что не могу изобразить какую-нибудь самую простую и естественную вещь, типа стакана с водой. Лоренцо верно разглядел во мне талант живописца - именно живописца, а не скульптора - но учиться мне приходилось с самых аздов, да и мой друг, хотя и имел некоторую фору самоучки по части контурного рисунка углем или мелом, работе с тенью и светом, не говоря уже о красках, обучен совершенно не был. Так что, при всех наших задатках, прошло не так уж мало времени, прежде чем старшие ученики перестали смотреть на нас с чувством снисходительного превосходства, которое уступило место завистливой ревности. Но сами мы - и я хочу это особенно подчеркнуть - были свободны от этого чувства по отношению друг к другу. Даже тогда, когда Лоренцо уже открыто признавал нас своими лучшими учениками и не уставал повторять, какой это удивительный случай, что среди его подопечных оказалось сразу два таких самородка. Обыкновенно, если из общей массы учеников кто-то и выделяется столь заметно, то только один - и то это следует почитать за чрезвычайную удачу. Однако ни я, ни Винченцо не стремились

стать этим единственным, и если и критиковали работы друг друга, то с той же целью, с какой учитель критиковал нас самих - не с целью принизить, а с целью сделать еще лучше.

Сейчас, оглядываясь на свою долгую жизнь, я могу сказать, что это было если и не самое счастливое, то самое светлое и беззаботное ее время. Понимаете ли вы разницу? Счастлив воин, одержавший победу в трудной битве, и мало что сравнится с этим ощущением достигнутого триумфа; но светел и беззаботен тот, у кого вообще нет необходимости воевать. У даже когда Винченцо первым из нас двоих получил настоящий заказ, это ничуть не омрачило моей беззаботности. Напротив, я искренне порадовался за друга, и мы отметили это событие совместной пирушкой на полученные от заказчика деньги (смехотворные с точки зрения нынешних цен на работы Великого Винченцо, но по тем временам казавшиеся нам целым состоянием).

Вскоре я и сам получил заказ на портрет от одного торговца, но прежде, чем я его закончил, случилось прискорбное событие, обозначившее для меня конец беззаботной поры: наш учитель Лоренцо умер. Формально мы уже не числились его учениками, а были вполне самостоятельными, хотя и пока безвестными, молодыми художниками, и все же Лоренцо помогал нам делать первые шаги, в том числе и рекомендуя нас потенциальным клиентам. Но даже не это практическое обстоятельство повергло меня в скорбь куда более глупую, нежели известие о смерти моего собственного отца, полученное мною почти десять лет спустя за сотни миль от Фиренцы. Отец дал мне жизнь и не более чем, заплатив за это лишь минутой плотского удовольствия; но лишь Лоренцо наполнил ее смыслом, сделав из меня художника.

Эта внезапная смерть стала тем неожиданнее, что наш учитель был еще не столь уж стар - ему было всего пятьдесят четыре, намного меньше, нежели мне сейчас. Неудивительно, что по городу поползли слухи об отравлении. Версий было, собственно, две: согласно одной из них, за убийством стоял кто-то из художников, завидовавший славе и клиентуре Бадатини. Это, впрочем, представляется весьма маловероятным. Вторая версия, передаваемая шепотом, гласила, что роковой для Лоренцо стала последняя его работа - портрет фаворитки герцога. Но не тот официальный портрет, что ныне украшает стены замка Фиччини, а другой, для которого модель позировала обнаженной. Существует ли эта картина на самом деле, я не знаю даже теперь, когда давно упокоились в могилах все герои этой истории - и художник и его модель, и сам герцог, который и в самом деле был известен своим ревнивым нравом. Впрочем, даже если и существует, то это ничего не доказывает. Мне, признаюсь, хочется верить, что смерть учителя все же была

естественной.

Винченцо, как мне показалось, воспринял эту смерть намного легче, чем я, и, пожалуй, именно это стало первой трещинкой в нашей дружбе. Нет, я вовсе не хочу сказать, что он был недоблгодарным учеником. Просто в его натуре уже тогда - да, содственно, и всегда, не исключая тот случай с рисунком углем на чужой стене - проявлялось некое легкомыслие, склонность относиться без должной серьезности даже и к действительно серьезным и важным вещам. Вы, возможно, скажете, что я сам только что произносил похвальное слово беззаботности; но я говорил о беззаботности человека, у которого нет надобности сражаться, а не о том, кто остается беззаботен, даже когда сражение уже началось.

Можно, разумеется, возразить, что такое отношение нередко скорее помогает, нежели мешает в жизни, и в частности, не будь той детской шалости с рисунком, не быть бы Винченцо и художником. Вынужден согласиться и прибавить, что это помогало ему и впредь. Наша карьера началась одновременно и в равных условиях, но некоторое время спустя я заметил - не мог не заметить - что он получает заказы чаще, нежели я. И по мере того, как росла его известность и популярность, этот разрыв все рос. Винченцо, надо отдать ему должное, не придавал этому особого значения и даже не думал задирать нос, относясь к своей растущей славе столь же легко, как и ко всему остальному. Я знал, что в тяжелые времена, когда мне доводилось сидеть без заказов, я могу попросить у него денег - и он даст их со словами "отдамь когда-нибудь... потом" и ни разу впоследствии не напомнит об этом долге. И все же я старался не пользоваться этой возможностью, проявляя умеренность и бережливость во всем; он же быстро привыкал жить на широкую ногу. И, признаюсь, все это вызывало у меня все большее раздражение.

Поймите меня правильно - это отнюдь не было завистью в том смысле, какой обыкновенно вкладывают в это слово. Я не завидую ни чужому таланту, ни чужому успеху - когда талант реален, а успех заслужен. Так я смиренно признаю, что Микаэль Псоканский и Назариус превосходят меня, как живописцы, и не испытываю зависти ни к тому, ни к другому, даже принимая во внимание, что один из них умер в нищете, а второй окончил свои дни в богатстве и роскоши. Но Винченцо - это совсем иное дело. Его талант никогда не превосходил мой содственный. Не уступал, да - я признавал и признаю это - но и не превосходил.

Секрет его успеха лежал в другой области, не просто не имеющей отношения к искусству, а прямо противоречащей высоким принципам такового. А именно - в готовности угождать

клиенту, словно Винченцо был не художником, а простым ремесленником, чтобы не подорвать еще более низкое сравнение. Если какой-нибудь жирный, одышливый торговец мануфактурой, никогда в жизни не державший в руках ничего возвышенной прикладно-расходной книги, желал быть изображенным в облике античного героя в окружении восхитенных нимф и ангелов, возлагающих ему на голову лавровый венец - Винченцо писал именно это во всех указанных заказчикам деталях, не пытаясь даже намекнуть хотя бы на то обстоятельство, что языческие нимфы неуместны на одном полотне с ангелами, не говоря уже, разумеется, обо всем прочем.

- Но ведь ты не можешь не понимать, какая это чудовищная пошлость! - возмущался я.

- Ну и что с того? - легко пожимал плечами Винченцо. - Человеку хочется быть изображенным именно в таком виде. Человек платит за это деньги. За это, а не за лекции по эстетике. Почему бы мне не удовлетворить его вполне безобидное тщеславие? Он получает удовольствие, я получаю мою плату. Все довольны и никто не пострадал. А ты смотришь на меня так словно я отдираю последний кусок хлеба у сироты.

- Пострадало искусство! - горячился я и, видя, что он по-прежнему не понимает, продолжал: - Ты, если угодно, легитимизируешь дурновкусие. Люди будут смотреть на твою работу и думать, что так - можно...

- Какие люди? Портрет будет висеть в частном особняке...

- А в особняке живут не люди? Удовольно влиятельные, между прочим. Откуда же откуда ты можешь знать, где этот портрет будет выставлен потом... Да и вообще, ты предаешь не просто высокие принципы изящного. Ты предаешь себя, свой собственный дар. Ты сам вскоре привыкнешь и уверуешь, что это - нормально...

- А вот тут ты, между прочим, не прав. В том смысле, что это не просто некая магия за деньги, не требующая таланта. Это, вообще-то, интересная творческая задача - изобразить подобное так чтобы оно не выглядело карикатурой, чтобы смотрелось по-своему органично...

- Да оно в принципе не может смотреться органично! Эта чудовищная эклектика и профанация...

- Ой, ну брось. Возьмем хотя бы твоего любимого Микеланджело. Разве ты не знаешь, что он писал своих мадонн с уличных девок?

- Это, положим, слухи.

- Ну да, церкви очень не хочется это признавать. Но ты не хуже меня знаешь, откуда

чаще всего берутся натуралисты. И, по-моему, изобразить проститутку в образе Мадонны - это как минимум ничем не лучше, чем изобразить торговца в образе Херакла. И насчет эклектики - ты в самом деле считаешь, что тысячу лет назад в Палестине носили такие плащи?

- Плащи - это не столь существенно. Покрой плаща не несет в себе никакой идеи, следовательно, не критичен. Хотя, если угодно, он даже может работать на определенную идею - приближая образ Мадонны к нашим современникам, делая его вневременным. И что касается натуралисту... до тех пор, пока они позволяют художнику выразить требуемый образ, их реальное прошлое не имеет значения. В конце концов, среди ныне живущих женщин нет безгрешных, а с другой стороны, некоторые святые получились как раз таки из блудниц..

- Ну вот, ты сам признаешь, что главное дело в искусстве, а не в модели.

- Дело в соответствии! Это есть в гармонии замысла и образа, образа и модели, темы и реализации, целого и частей, а также самих частей друг в отношении друга, и так далее. В данном же случае о гармонии даже говорить смешно!

- Ну почему так уж смешно? Ты видишь здесь всего лишь тщеславие и дурновкусие заказчика. Пускай изначально это и в самом деле так. Но мы же художники! Кто мешает нам подойти к теме творчески - хотя бы даже и к такой теме? Вообразим себе, что Хераклос не был отравлен. Что он дожил до старости, расплыв, облысел, утратил свою легендарную силу, еле втискивается в специально изготовленные для него доспехи, богато украшенные, но уже не пригодные для реальной битвы. Но он по-прежнему окружен славой, причем даже большей, чем во времена его истинной мощи, вокруг него вьются бесчисленные поклонницы и льстецы, и он вынужден позировать им в этих доспехах, принимая гордые позы, взваливая на плечо палицу, на самом деле давно уже полную изнутри... Вынужден, несмотря на боли в спине и ногах и одышку. Ибо с одной стороны он понимает, что является важным символом - пока легендарный герой стоит на страже страны, соотечественники могут спокойно спать и веселиться, а враги не посмеют напасть. С другой... ну да, он уже слишком привык ко всем этим славословиям, которые когда-то его, возможно, раздражали. Но самое главное - рано или поздно враги все же осмелеют и нападут. И что произойдет тогда, когда все эти восторженные прелестницы и велегачивые поэты, умеющие держать лишь лиру, но не меч - зачем им мечи, если у них есть Хераклос? - когда все они припадут к его ногам, взывая о спасении? Пойдет ли он на бой, в полной мере сознавая собственную обреченность - и, по сути, беспомощность своей жертвы, ибо все равно уже не сможет

никого защитить? Ули, после стольких лет восхвалений, и сам уже уверует в свою непреодолимую неподобность? Одно лишь очевидно - отказаться он не сможет. Не сможет объявить всем этим людям, что он теперь всего лишь усталый старик, страдающий ожирением и подагрой... Ну? Разве это не тема, достойная живописца?

- Признайся - ты придумал все это, только чтобы отвести мои упреки. А на самом деле ты просто старался ублажить заказчика ради денег.

- Ну, не совсем так.

- Так так не отпирайся. Достаточно посмотреть на физиономию твоего Херакласа, так и лучающуюся глупым самодовольством. Нет там никакого осознания неизбежности грядущей трагедии.

- Ну да, заказчик - человек простой и вправе получить то, что он хочет. Но мне-то никто не мешает не отождествлять модель и образ. Представлять себе, что мой герой - не торговец, а Хераклас! - на самом деле лишь позирует восторженным поклонникам, которые не должны заметить тяжких раздумий на его лице.

- У что проку от этих твоих представлений, коль скоро они не находят отражения на холсте, и в итоге зритель получает все ту же пошлость и профанацию?

- На самом деле, если ты присмотришься к лицу героя внимательнее, ты заметишь, что там не все так безоблачно.

- Ну да. У вызвано это усталостью торговца от долгого позирования, а вовсе не всем тем, что ты только что мне наплел.

- Кто знает, - смеялся он в ответ, - возможно, самые пронзительно-печальные строки классической поэзии вызваны всего лишь расстройством пищеварения у автора. Кстати, лично у меня с пищеварением все в порядке, и я намерен навеститься к дядюшке Сильвио. Оставишь мне компанию?

У мы шли в харчевню, где он обыкновенно платил за меня, что, возможно, несколько охлаждало мой обличительный пыл - но не мою убежденность в собственной правоте.

Сам я, разумеется, придерживался иного стиля. Я принципиально не льстил заказчикам и не удовлетворял глупые и безвкусные капризы. О нет, я, конечно же, понимал, что человек, заказывающий свой портрет, желает увидеть себя в наиболее привлекательном виде, а не выставить напоказ все свои родимые пятна и бородавки. Но я подбирал выгодный ракурс,

антирака, освещении и т.п., позволяющие, не греша против правды, в то же время максимально прикрасить недостатки и подчеркнуть достоинства. И если кто-то хотел, например, быть изображенным в античном облике, я объяснял ему, что при его комплекции ему наилучшим образом подойдет роль Бахуса, а не Марса.

И вы, соглашались со мной не все. Почему-то посетители харчевни не поучают повара, как ему следует готовить блюдо, а больной не требует от медика поставить тот, а не иной диагноз - но всякий, а уж в особенности клиент, почитает себя разбирающимся в искусстве и имеющим право давать советы, а то и категорические предписания, художнику. Что ж - я еще готов был на уступки в мелочах, но не в вопросах принципиальных, предпочитая скорее отказать от заказа, чем изобразить нечто, за что потом мне было бы стыдно. Винченцо же этого стыда не просто не испытывал, а и вовсе не понимал.

Не хочу сказать, что мой подход вовсе не встречал признания. Нет, у меня были свои ценители, в том числе ставившие меня выше Винченцо. Но - кто из нас двоих был более популярен, вы уже знаете.

И пусть бы еще он был бездарен! В этом случае, даже завоевав дешевую популярность среди лавочников и куртизанок, он, полагаю, все же не нанес бы особого вреда. Не смог бы смутить истинных ценителей и был бы забыт, возможно, еще при жизни. Вероятно, даже не получил бы известности за пределами Фиренцы. Но в том-то и беда, что он был талантлив. И его талант в сочетании с его неразборчивостью, с его готовностью угождать самым низким и неразвитым вкусам образовывали злокачественную смесь, развращающую искусство изнутри. Я уже знал, что не смогу его переубедить. Дело было даже не в деньгах - о, если бы только в них! - а в том, что он в принципе не понимал моей озабоченности. В этом его легкомыслии, с которым он относился ко всему, включая и собственный дар, и высокие идеалы. Он советовал мне "не быть таким серьезным" и со смехом говорил, что мне стоило пойти в монахи, а не в художники. А меж тем его слава все росла, выйдя за пределы не только Фиренцы, но и, как выяснилось, всего полуострова...

Я узнал об этом в тот день, когда получил от него записку с приглашением зайти. Мы к этому времени уже довольно давно не общались. Нет, формальной ссоры не было - просто нараставшее отчуждение привело к тому, что я перестал заглядывать к нему, а он не звал (до того как-то всегда случалось, что я заходил к нему, а не наоборот; хотя, в самом деле, каморка, которую

я снимал под хилье и студию, мало шла в сравнение с купленным им домом). Но вот уличный мальчишка принес мне эту записку; вздохнув, я вознаградил посыльного самой мелкой из имевшихся у меня монет и прочел, что Винченцо непременно желает меня видеть, дабы объявить о некоем важном событии. Злясь на него за то, что он, в своей вечной манере, не потрудился прямо написать, в чем дело, я, тем не менее, почти сразу отправился в путь, зная, что даже раздражение не сможет пересилить моего любопытства.

В доме у Винченцо царил преизрядный беспорядок - что вообще было обычным для него состоянием, но в тот раз беспорядок был осоденный, какой бывает либо сразу после, либо в преддверии переезда. Когда я вошел, Винченцо стоял спиной ко мне, изучая содержимое платяного шкафа (давно ли его единственным нарядом были односки, доставшиеся от старшего брата?)

- А, Родольфо. Вот и ты. Давно не виделись. Как поживаешь?

Я промывчал нечто неопределенное, но он явно не интересовался моим ответом и сразу же перешел к занимавшей его теме:

- А вот я, представь себе, получил письмо от императора! - он кивнул на стол, где лежал открытый футляр и развернутый свиток

- Вот как? От самого Людвига? - переспросил я тоном скорее ироничным, нежели восторженным.

- Ну, на самом деле от его секретаря, но это неважно. Приглашение-то исходит от него самого. Представь себе, он зовет меня в столицу!

- Зачем? - задал я не столь уж и глупый вопрос. Это ведь могло быть и каким-то разовым заказом, не так ли?

- Очевидно, чтобы назначить министром финансов, - ответил Винченцо с серьезным видом и тут же рассмеялся, увидев выражение моего лица: - Учу, разумеется. "Дабы искусством вашим послужить прославлению Государя и трудов его, украшению престольного града, а также и иным возвышенным целям, сообразно мастерству вашему", - отарабанил он по памяти, не заглядывая в послание - не иначе как перечитывал его не один раз. - Это есть, видимо, это не только должность придворного живописца. Это еще и роспись дворцов и храмов... ты ведь знаешь, что Людвиг затеял большое строительство?

Да, Людвиг, которого впоследствии тоже назовут Великим, а в то время - молодой

император, взошедший на престол менее года назад, уже тогда был известен своими грандиозными планами. К которым, впрочем, в ту пору многие относились скептически. Особенно когда вместо умудренных старцев он начал приближать к себе таких же молодых людей, как он сам.

- Ну, разумеется, все это после того, как он лично уделится в моем мастерстве, - продолжал Винченцо. - Пока что он, наверное, больше слышал обо мне, чем видел мои работы.. Но за этим дело не станет.

- Собираешься брать их с собой?

- Нет, конечно, зачем обременять себя в дороге. Напишу новые на месте, - с извечной своей беспечностью улыбнулся он. - А дом со всей обстановкой и оставшиеся картины я продаю. Но ты можешь выбрать себе модулю в подарок - он развел руки широким жестом, а затем неожиданно посерьезнел. - Не знаю, когда мы снова увидимся, Родольфо, и увидимся ли вообще. Переезд в столицу... сам понимаешь, это серьезное дело. Чуть не тысяча миль пути по плохим дорогам... там, где их вообще можно назвать дорогами... вряд ли у меня будет возможность съездить в Фиренту, чтобы навестить старых друзей. Вот разве что, - он вновь повеселел, - ты тоже переберешься ко мне на север.

- На север - пока еще нет, - произнес я, глядя на него (пожалуй, я принял окончательное решение именно после этой фразы). - Но... знаешь ли, Винченцо, вот ведь странно: я ведь тоже хотел сообщить тебе, что собираюсь в путешествие. Только не на север - на восток в Хелласу. Ты ведь знаешь, я давно об этом мечтал.

Действительно, я не раз говорил Винченцо о своем желании посетить древнюю Хелласу, дабы своими глазами осмотреть - и по возможности запечатлеть - и развалины античных храмов, и фрески наиболее знаменитых церквей восточного ордера. Я даже предлагал ему совершить это художественное паломничество вместе - что, помимо прочего, было бы и выгоднее, и безопаснее - и он всякий раз говорил, что это и в самом деле было бы неплохо, если бы он не был должен работать над очередным заказом. И, если он не мог найти для столь длительного путешествия времени, то мне, в свою очередь, не хватало денег.

- Значит, все-таки собрался? Выходит, твои дела пошли в гору?

- Да, подвернулся выгодный заказ так что могу себе позволить, наконец... - предвормотал я и, пока он не заинтересовался этим "заказом", перешел к главному: - Так что, я думаю, нам рано прощаться. Мы можем отправиться в путь вместе и быть попутчиками до самой

Вероны.

- Правда? Здорово, - искренне обрадовался он. - Несмотря на подорожную с императорской печатью, я буду чувствовать себя куда спокойней в компании старого друга в наших северных провинциях. Говорят, содержатели постоялых дворов там сплошь разбойники, и не всегда даже в переносном смысле.

- Ну, я, конечно, не солдат, но двое действительно рискуют меньше, чем одинокий путник. От Вероны на север тебе тоже не следует ехать одному. Дождись какого-нибудь каравана. Самошние края, говорят, совсем дикие.

- Да, конечно. Ты тоже береги себя.

- Непременно. Когда ты выезжаешь?

- Как только издвигнусь от всего тут. Думаю, дней трех мне на это хватит.

Пришлось бы, конечно, провозиться дольше, чтобы выторговать наилучшую цену, но к чему? Мне не терпится начать новую жизнь на новом месте, так что долгой старьяй хлам. У на службе императора я вряд ли буду действовать... А у тебя какие планы?

- Мне не надо улаживать никакие дела - я ведь уезжаю не насовсем, - солгал я. - Так что готов ехать, когда будешь готов ты.

У три дня спустя мы действительно отправились в путь. Был конец мая, погода стояла чудесная, и казалось, что сама природа обещала успех всякому задуманному в это время предприятию - но, конечно, из двух предприятий окончиться успехом могло лишь одно. Винченцо ехал на лошади, я - на муле, что, по правде говоря, создавало впечатление, что путешествуют не два товарища, а хозяин со слугой, но, так или иначе, на тот момент даже и покупка мула была для меня едва посильной тратой. В моей дорожной торбе было не так уж много вещей, но Винченцо удивился бы, если бы узнал, что среди них имеется небольшая лопата с обрезанной ручкой.

Наше совместное путешествие продолжалось три дня, хотя возможность не раз представлялась мне уже в первый день. У дело вовсе не в том, что я терзался и мучился сомнениями. Напротив, меня самого удивило, насколько спокойно я себя чувствую после того, как твердо принял решение. Но мне все же хотелось отъехать подальше от Фиренцы.

Вероятность встретить на дороге кого-то знакомого была совершенно ничтожной, но я все-таки предпочел довериться своей интуиции. О чем мы говорили по пути, я уже не помню - должно быть, болтали о пустяках; по крайней мере, я успешно поддерживал беседу, не вызывая подозрений моего

спутника. Впрочем, при его легкомыслии это было нетрудно.

Рано утром четвертого дня, прежде чем выехать с постоялого двора, я незаметно от Винченцо подобрал овальной формы камень, удобно лежащийся в руку, и завернул его в тряпку. Мне не хотелось лишней крови или, тем более, резаных ран. Не потому, что я опасался вида крови - за свою краткую карьеру в качестве ученика кожевника я успел побить и не такое - а дабы не портить одежду.

Через пару часов на совершенно пустынной дороге - что, как говорят, была довольно оживленной в античные времена, но в ту пору выглядела почти заброшенной - я слегка придержал своего мула, а потом окликнул Винченцо.

- Что у тебя случилось? - спросил он, обращившись.

- Не у меня. У тебя. Твоя лошадь вот-вот потеряет левую заднюю подкову.

- В самом деле? Не заметил, чтобы она хромала.

- Захрамает, когда подкова свалится.

- Вот ведь незадача, пока мы еще доберемся до кузни... Ты уверен? Разве ты мог хорошо рассмотреть на ходу?

- Взгляни сам, - пожал плечами я.

Он спешился; я тоже. Он присел возле задней ноги лошади и тронул ее за бадку, побуждая поднять ногу; я подошел сзади с камнем в руке.

- Ну же, давай, - сказал он лошади, но я мог отнести это на свой счет. Я ударил.

Я надеялся, что удар по затылку сразу же лишит его сознания, и он не успеет ничего почувствовать и уж тем более понять. Когда я не столько даже услышал, сколько почувствовал отвратительный мокрый хруст, с которым камень проломил череп, я был уверен, что так оно и вышло. Винченцо, словно тряпичная кукла, повалился вперед, ткнувшись лицом в дорожную пыль. Но когда я перевернул его, чтобы убедиться, что он мертв, он смотрел на меня. Смотрел расширенными глазами, мелко и часто дыша, и пытался что-то сказать.

Под взглядом этих глаз я на какой-то миг растерялся и пробормotal нечто глупое - кажется, что его лягнула лошадь, и что я сейчас ему помогу. А потом взял его за горло и стал душить. Душить, глядя ему прямо в глаза. А он все не умирал, хотя и не мог сопротивляться - из горла вырывался хрип, из носа текла кровь, шея сделалась скользкой от пота, зрачки подергивались туда-сюда, но все же он не сводил глаз с меня, своего убийцы. Я уже жалел, что

отложил в сторону камень, не желая снова этого хруста - возможно, еще один удар покончил бы со всем разом, не растягивая эту агонию... Затем его каблуки выдвинулись по земле, словно он пытался станцевать лежа, зрачки застыли и расширились еще больше. Ни пульса, ни дыхания больше не было. Винченцо Дирентийский был мертв.

Ули нет.

Я взвалил труп на мула и отвел обоих животных в сторону от дороги, в укромное место среди деревьев. Там я снял с мертвеца одежду - она и в самом деле лишь несколько запачкалась в дорожной пыли, но в остальном не пострадала, и даже кровь не попала на воротник - отряхнул ее насколько мог тщательно, затем натянул на себя. Мой прежний, заметно более дешевый, костюм отправился в торбу; я избавился от него позже. Затем я достал лопату и выкопал могилу в мягкой земле, предварительно сняв верхний слой дерна так, чтобы его можно было уложить обратно, не привлекая внимания свежеразрытой землей. Впрочем, едва ли кто-то мог надбрести на этот дюгорок в лесу, в стороне от дороги и вдали от поселений. А если бы даже и надбрел, не стал бы интересоваться, что там внутри. Мало ли неизвестных упокоилось в безымянных могилах вдоль дорог в наши беспокойные времена?

Велик соблазн, конечно, сказать, что я сделал то, что сделал, во имя искусства. Дабы не позволить Винченцо нанести тот урон вкусам и представлениям о прекрасном, который он мог бы нанести, возвысившись до первого живописца Империи. У я действительно думал об интересах искусства. О том, что, воспользовавшись слабой Винченцо - пусть, на мой взгляд, незаслуженной - и заняв его место при дворе, я смогу сделать для культуры гораздо больше, чем в качестве мало кому известного провинциального живописца. Что эта слава, этот авторитет позволит мне уже не опускаться до уровня клиента - даже если этим клиентом будет сам император - а, напротив, поднимать его до своего уровня. Что благодаря мне художественная правда станет не уделом немногих ценителей, а нормой и даже, если угодно, модой...

Все это так. Но я не стану грешить против истины, утверждая, что это было моим единственным мотивом. Нет. Я жаждал справедливости по отношению к себе лично. Я не мог смириться с тем, что вся слава и признание достаются человеку, ничуть не более талантливому, чем я сам. Да, конечно, и деньги тоже, как наверняка скажут циники - но как раз с этим я легко мог примириться. Мало ли богатых ничтожеств рождаются во дворцах и замках - но кто помнит их и чего стоит их пустая жизнь, пусть даже и проведенная в роскоши?

Итак безымянный мертвец упокоился в земле. А Винченцо Фирентийский продолжил свой путь в столицу. У содержатели постоялых дворов подобострастно кланялись, читая мою подорожную, украшенную императорской печатью. Подобострастие это, впрочем, было вызвано не столько почетом к монарху, который в те времена для жителей отдаленных провинций был лишь немногим реальнее сказочных королей и чародеев, и уж тем более не уважением к искусству, сколько любовью к тем императорским портретам, что чеканят на золотых и серебряных кружочках; от важного путешественника всегда надеются получить щедрые чаевые. У действительно, содержимое моего - теперь уже моего - кошелька позволяло мне проявлять щедрость, хотя, конечно, я делал это в меру. Сорить деньгами - лучший способ нарваться на неприятности даже в цивилизованных краях, а уж тем более в тех местах, через которые мне довелось провзжать. Нынешней молодежи, сызмальства привыкшей к достижениям эпохи Людвига, пожалуй, сложно вообразить, что представляла из себя Империя в самом начале его царствования, в том виде, в каком он унаследовал ее после поколений упадка и распада. Фактически она существовала лишь номинально; дороги зарастали травой, многие некогда величественные города лежали в руинах или превратились в деревни, где по древним форумам и стадионам лениво бродили коровы и свиньи; правители огромных областей, формально признавая себя вассалами имперской короны, фактически повелевали в своих землях самовластно, не стесненные никакими законами, чеканя собственную монету, держа собственные армии и периодически воюя друг с другом, но не давая императорам ни налогов, ни солдат. А немало было и таких мест, где даже о номинальном признании имперской власти можно было говорить лишь в какой-нибудь одинокой крепости, окруженной десятками миль лесов и болот - или же гор - где обитали варвары (чье мнение для хилого крепостного гарнизона было куда весомей любых распоряжений из столицы). Даже сейчас трудно поверить, что всего за какие-то сорок с небольшим лет в эти расплывающиеся останки бывшего величия удалось вдохнуть новую жизнь, вновь сделать государство единым, законы всеобщими, армию сильной, а дороги безопасными - не говоря уже о новом золотом веке искусства и просвещения. У уж тем более трудно было поверить в возможность подобного тогда...

Мой путь до столицы - путь, который сейчас, благодаря системе почтовых станций со сменными лошадьми, преодолевается за две недели - занял тогда почти три месяца. Я действительно задержался в Вероне в ожидании каравана с хорошей охраной, к которому можно

было бы присоединиться. И вы, его маршрут совпадал с моим лишь на протяжении двух сотен миль. Были и другие трудности и задержки в пути. Однажды мне пришлось спастись на своем коне от стаи волков; в другой раз меня чуть не зарезали случайные попутчики, к которым я имел неосторожность присоединиться, надеясь на их защиту. В одной крестьянской хижине, где я остановился на ночлег, ко мне пытались вломиться ночью - очевидно, с целью убить и ограбить; к счастью, я всегда на ночь баррикадировал дверь изнутри. А трем заросшим бородой хозяин сделал вид, что ничего не было... Впрочем, не стану утомлять вас всеми этими подробностями. Достаточно сказать, что, когда я наконец добрался до столицы, я чувствовал себя не гостем из южной провинции того же государства, а пришельцем из другого мира. И, предъявляя в императорском дворце бумаги на имя Винченцо Дирентийского, менее всего я мог опасаться встретить там кого-либо, кто мог бы меня разоблачить.

Конечно, мы с Винченцо не были похожи так, как бывают похожи братья. Но мы были одного возраста, примерно одного роста (я на полдюйма выше) и комплекции, оба кареглазые с темными волосами (художник отметил бы разницу оттенков, но обыватель едва ли). Словом, любого словесное описание, относящееся к нему, подходило мне и наоборот. Винченцо никогда не писал автопортретов; я тоже. Правда, в годы учебы мы делали надроски друг друга. Но, даже если эти полудетские рисунки и сохранились (что едва ли), по ним проблематично было бы опознать взрослого человека, а главное - на них не было подписей, поясняющих, кто есть кто.

И даже много позже, когда поездки из столицы в Фиренту и обратно превратились из долгого и опасного приключения в рутину, у меня не возникало поводов для опасений. Большинство людей, знавших меня или Винченцо детьми, к тому времени уже умерли или были слишком стары для путешествий, а если бы случай и свел меня с кем-то из знакомцев юности, что бы это значило десятилетия спустя? Он бы не просто не смог ничего доказать, но и сам заподозрил бы скорее собственную память, чем меня.

Впрочем, почти полвека назад я еще не заглядывал в будущее так далеко - попросту не мог представить, что ситуация в Империи настолько изменится. Но первая же встреча с императором Людвигом - который был старше меня всего на год - произвела на меня весьма благоприятное впечатление, и на него, судя по всему, тоже. Но, конечно, окончательные выводы он намеревался сделать, лишь удивившись в качестве моей работы. Он не стал предлагать мне написать какого-нибудь придворного, а сразу же заказал свой портрет.

Я не стал писать его так, как обычно изображают монархов - ни в образе надменного властителя в пурпурной мантии, ниспадающей на ступени трона, ни в образе воителя в сияющих доспехах. Тем более что, при его щуплой комплекции, и то, и другое смотрелось бы скорее нелепо, чем величественно. Я изобразил Людвига в образе мыслителя, задумавшегося над шахматной доской. В простом черном камзоле с минимумом украшений, освещенный лучами зари, которая может оказаться как утренней, так и вечерней, он сидит, держа в своих тонких, совсем не рыцарских пальцах фигуру белого короля, но внимательному зрителю видно, что его взгляд устремлен поверх доски. Напротив него нет соперника, однако рядом с доской стоят пугатые песочные часы. Большая часть песка пока еще в верхней колбе, однако он неминуемо съплется вниз...

Если вам доводилось бывать в столице, вы, возможно, видели этот портрет в императорской галерее. Позже были и другие, в том числе и выполненные во вполне официальной манере, но, пожалуй, именно этот произвел на Людвига самое сильное впечатление. "Да, Винченцо, - сказал он мне. - Я вижу, что не ошибся, пригласив вас. Мало кто мог бы так ясно понять и так удачно выразить мое положение и стоящую передо мной задачу..."

Винченцо. Мог бы тот, прекрасный Винченцо Фирентийский написать такую картину? О, несомненно - если бы ему сперва подробно разъяснили ее замысел. Но по собственной инициативе, да еще рискуя прогневать царственного заказчика неканоническим подходом - нет, никогда.

С этого портрета началась не просто моя работа при дворе - началось наше сближение с Людвигом. Сближение двух людей, каждого из которых еще при жизни назовут Великим - и нет, я не испытываю смущения ложной скромности, приводя это сопоставление. Я не могу сказать, что стал другом Людвига; император принципиально избегал заводить друзей, полагая, что правитель никого не должен слишком приближать к себе, дабы личные чувства не возобладали над интересами государства - и более того, дабы само подозрение, что подобное возможно, было исключено. У все же я был для него большим, чем просто придворным живописцем. Я был летописцем эпохи Людвига, выразителем ее духа. Я не сидел безвылазно в столице, исполняя заказы - я сопровождал императора в его походах и трудах; я своими глазами видел, какого цвета озаренные пламенем стены замка мятежного графа и какого - свежеструганные доски лесов в начале строительства нового собора. Видел я и кровь, пролитую в бою и на эшафоте. Видел и

изображал - правдиво, как и всегда. Людовиг не возражал против этой правды. Не только потому, что она служила устрашению врагов престола. "Люди должны знать, какую цену уплачено за возрождение, - говорил он. - Тогда они будут больше ценить и лучше беречь его."

Многие, разумеется, находили эту цену чрезмерной. Еще при жизни о Людовиге ходило немало злобещих слухов, которые, вероятно, еще умножатся теперь, после его кончины. Говорили, к примеру, что он распорядился умертвить собственного сына, дабы избежать ситуации, возникшей после смерти его легендарного прапрадеда, когда Империя едва не была разделена между тремя сыновьями последнего. Причем Людовигу особенно ставят в вину то, что он лишил жизни не младенца - что, мол, еще как-то можно было бы оправдать - а четырнадцатилетнего юношу, которого все эти годы расчетливо растил "про запас", на случай преждевременной смерти старшего сына. Скажу сразу - я не знаю, правда ли это. Хотя скоростипичная кончина Раймонда менее чем через год после свадьбы наследного принца Филиппа и вскоре после рождения у того наследника и в самом деле выглядит подозрительной. Но верно и то, что Раймонд с детства не отличался крепким здоровьем. Всякий может убедиться в этом, взглянув на его портрет моей кисти. Нет, я вовсе не преувеличил болезненную бледность мальчика. Я был правдив в этой своей работе, как и во всех остальных.

Сам Людовиг всегда говорил, что жалость и жестокость - две стороны одной медали, имя которой - несправедливость. Правитель не должен отклоняться от справедливости ни в ту, ни в другую сторону. Следуя этому принципу, Людовиг не наказывал за ошибки (если не считать наказанием отстранение от должности того, кто с нею не справился), но и никогда не прощал вины, основанной на злом умысле, как бы горячо ни казался потом злоумышленник. Но можно ли назвать справедливой смерть невинного юноши, даже если она, возможно, предотвратила кровавую междоусобицу и распад страны? Не знаю; во всяком случае, если Людовиг и в самом деле сделал это, не мне его судить.

Еще один афоризм Людовига гласил: "Правитель не обязан разбираться ни в военном деле, ни в хозяйствовании, ни в строительстве. Правитель обязан разбираться в людях. Искусство управления состоит в том, чтобы расставить правильных людей на правильные места." Пожалуй, по отношению к нему самому это было неким преуменьшением, ибо он лично разбирался во многих вещах (но военное дело и впрямь не было его сильной стороной - возможно, из-за щуплого сложения, привившего ему отвращение к тяжести меча и достижов еще с детства;

император, за которым числится столько походов над варварами и мятежниками, лично не командовал ни одной из битв). Однако в лодях он действительно не ошибался почти никогда. Возможно, приглашение на должность придворного живописца было едва ли не единственной его ошибкой. Не потому, разумеется, что он взял на эту должность меня. А потому, что изначально оно было адресовано не мне. Впрочем, эту ошибку - допущенную по недостатку информации, а не проницательности - я исправил за него.

И я стал первым живописцем Империи по праву. Благодаря собственному таланту, а не чужим документам и не милости монарха - какой милости не было бы, если бы я не заслужил ее делом. Я достиг всего, о чем может мечтать художник. Я создал впечатляющую галерею портретных, жанровых, батальных и пейзажных полотен; я расписал самые знаменитые дворцы и соборы, воздвигнутые или отреставрированные в эпоху Людовика. И ни в одной из своих работ, даже в самых формальных, я не отступил от своих принципов вкуса и художественной правды.

Мое искусство прославлено во всех концах цивилизованного мира; я стал законодателем стиля в живописи на многие годы вперед. Я лично отобрал и воспитал дюжину учеников - не так много, как иные, но моим критерием было качество, а не количество. Моему финансовому состоянию могут позавидовать иные столичные аристократы, и уж точно оно многократно превышает самые смелые мечты любого сына булочника.

И, разумеется, никакие кровавые призраки не тревожат мой сон. О том, что я сделал почти пятьдесят лет назад на пустынной дороге к северу от Бонны, я не жалел ни единой минуты. Несколько раз - уже после того, как моя слава распространилась по всей Империи - мне приходили письма от оставшихся у Винченцо родственников - или, во всяком случае, от людей, претендовавших на то, что являются таковыми. Разумеется, во всех этих письмах они просили денег у своего богатого и знаменитого родича. Я оставлял их без ответа.

И как не знаю я муку раскаяния, так же не знаю я и муку страха. Никто не смог бы и даже не попытаться бы меня разоблачить.

Словом, у меня есть все, за исключением разве что дворянского титула. Людовик предлагал мне его, но я отказался, обосновав это тем, что, поскольку я предпочитаю оставаться холостяком и воспитание отобранных мною учеников для меня всяко предпочтительней одзаведения собственными детьми, нет нужды создавать новую дворянскую фамилию, которую все равно некому будет передать. Людовик согласился и более не возвращался к этой теме.

К ней вернулся Филипп, когда принимал мою отставку с поста придворного живописца. Окончание долгого царствования и восшествие на престол засидевшегося в принцах наследника всегда означает большие перемены при дворе - особенно среди престарелых придворных - но Филипп не решился бы сместить столь прославленного человека, как я. Это было целиком мое решение. Мое зрение уже не так остро, как раньше, и, хотя я все еще мог бы писать портреты и картины иных жанров, опираясь на знание тысяч типажей, хранящееся в моей памяти, они уже не были бы столь совершенны, как прежние. Возможно, этого никто бы и не заметил, и уж наверное не выказал бы вслух. Но я не желаю создавать что-либо, не отвечающее моим собственным строгим критериям.

Филипп, конечно, выказал подобающее сожаление по поводу моего ухода, хотя, полагаю, в глубине души он был рад. Все же он спросил меня, кого я рекомендую на свое место. Я предложил ему на выбор трех из своих учеников; в конце концов он действительно выбрал одного из них. Мне же, "в благодарность за долгую и верную службу престолу и отечеству", он предложил титул, даже более высокий, чем в свое время Людовиг. Я вновь отказался.

"Понимаю, - улыбнулся Филипп, - графов и маркизов на свете множество, а Винченцо Дирентийский - только один."

Винченцо Дирентийский.

О глaza ирония судьбы! Конечно, я давно привык к тому, что меня называют именно так. Но получается, что всю свою жизнь я употребил только на то, чтобы прославить имя своего соперника. Родольфо Дирентийский сгинул без следа, пропал где-то на дороге в Желласу, и даже тогда это известие явно не взволновало многих, включая его отца и брата, а уж ныне о нем не помнит и вовсе никто. Картины, написанные им за его короткую жизнь, возможно, где-то еще висят, но их нынешние владельцы, скорее всего, не знают имени художника. А Винченцо Дирентийский жив и известен повсеместно. Усторики уже пишут о нем труды, причем начинают повествование не с его прибытия в столицу, а с его детства в семье рыбака. У с его ранних работ, разумеется. Конечно, разбирающиеся в искусстве не могут не отмечать, что их стиль отличается от "зрелого Винченцо", но их это не смущает: так бывало со многими художниками. У эти работы уже сейчас стоят гораздо больше, чем в тот время, когда были написаны - и чем они заслуживают. Винченцо Дирентийский, моими стараниями, обрел бессмертие.

Ули нет.

Я не позволю ему восторжествовать. Я верну себе свое имя. Конечно, не при жизни. Я намерен прожить оставшиеся мне несколько лет на своей вилле у озера в горах, наслаждаясь покоем и достатком. Пакет с этой рукописью будет вскрыт лишь после моей смерти - и, если вы это читаете, значит, это уже произошло.

Так что вы будете делать теперь - зная, что величайший живописец величайшего из императоров, человек ставший выразителем эпохи и законодателем современного изобразительного искусства - на самом деле удийца, вор и обманщик а имя, которое вы привыкли с почетом произносить, на самом деле ему вовсе не принадлежит? Будете ли вы вычеркивать это имя из всех трудов и наставлений для художников? Осмелитесь ли посягнуть на полотна, украшающие ныне дворцы и замки сильных мира сего? Дерзните ли соскрести прославленные фрески в ваших соборах? Выше я отметил, что никогда не писал автопортретов; на самом деле это не совсем так. В каждой из многофигурных композиций, запечатленных мною на стенах и потолках, у одного из персонажей - о, разумеется, далеко не главного - мое лицо.

Возможно, кто-то из вас попытается замаять скандал. Сделайте вид, что эта рукопись - всего лишь последняя шутка экстравагантного художника, хотя при жизни я никогда не отличался экстравагантной манерой шутить. Ули и вовсе представить все так будто я в старости выжил из ума. Так вот, я представлю доказательство своих слов. Я скажу вам, где на самом деле похоронен Винченцо Дирентийский. Я специально выбрал тогда на дороге приметное место, которое легко будет найти - хотя тогда у меня еще не было четкого видения, зачем я это делаю. Утак это ровно в двадцати милях к северу от Бононы по дороге на Верону; там еще с античных времен стоит гранитный столб, на котором выдито число "XX". От этого столба, стоя лицом на север, надо повернуть направо и пройти сорок шагов прочь от дороги. Там деревья растутая, образуя небольшую поляну вокруг дуба - вне всякого сомнения, он все еще стоит. Копайте у корней дуба с западной стороны. Винченцо еще в детстве сломал левую руку ниже локтя; это известный факт, ныне отраженный в его биографии. Рука благополучно срослась, но след на кости, несомненно, должен быть хорошо заметен. В свою очередь, в моих костях вы никаких таких следов не найдете.

Так что вы собираетесь делать с этими костями? С моими останками, ныне покоящимися в роскошной, без сомнения, усыпальнице? Выкинете их оттуда и положите на их

место крсти Винченцо? На каком основании? Эта гробница, как и все, полученное мною за службу Империи, заработана мною по праву, честным трудом и подлинным талантом. Ни мои картины, ни мой стиль, ни мои ученики - коим я завещаю все свое имущество - не становятся фальшивыми от того, что все это создал не тот человек, что вы думали. И сам этот человек всю свою жизнь оставался собой, нимало не пытаясь подражать подлинному Винченцо.

Фальшивым было только имя, и лишь его надлежит исправить.

Вам придется постараться, делая это. Но вы уже не сможете вычеркнуть меня из истории. И не сможете оставить все, как есть. Так что начните с моей гробницы. Вам придется стесать то имя, что уже, без сомнения, высечено на мраморе, и выдуть на его месте новое, коим и подписываю сей манускрипт.

Родольфо Вирентийский